

## Григорий Померанц Встречи Тарковского с Достоевским

Мне уже приходилось говорить, что у Достоевского есть мысли-зерна, из которых – из каждого – может вырасти целое дерево. Иногда это несколько фраз (например: о Христе вне истины и истине вне Христа). Иногда – только несколько слов: «Мир красота спасет» (или «Мир спасет красота Христа»); «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым»; «Все мы друг перед другом виноваты»; «Слишком много сознания – это болезнь...»

Очень много ростков потянулось у меня, когда я начал работать над Тарковским, из зерна одной мысли, брошенной в «Дневнике писателя»: что если бы Достоевскому предложили выбрать либо прекрасный, совершенный мир, без всех мучительных противоречий, но без детей, либо мир, какой он есть, со всем его ужасом, но с детьми, то он выбрал бы второе. Я помнил этот выбор больше шестидесяти лет, но только как гиперболу личного чувства, без какой бы то ни было философии, и вдруг осознал целую онтологическую доктрину: прав был Бог, сотворив мир таким, какой есть, с рождением, за которым следует смерть, с хрупкостью добра в борьбе со злом, но и с красотой хрупкого добра, красотой сильно развитой личности, отдающей себя всю всем, и ясностью детской улыбки. Ум человека может захватить Солярис, где нет ничего отдельного и нет борьбы особей, ненависти, поедания друг друга, но сердце не откликается на единство без шипов и без роз, без предательства Иуды, но и без подвига Христа. Этот выбор – не ответ Ивану Карамазову, но противовес его вопросу: почему страдают дети? Почему страдает Иов? Почему страдает все живое?

Иван готов верить, что где-то, за квадрильон верст и лет, есть совершенная гармония. На глубине бытия зла нет, писал Августин. Но почему так мучительно противоречива поверхность бытия, где рождаются, страдают и умирают? Отвлеченный ответ здесь давно известен; вернее, множество ответов. Но они не насыщают сердца. Пока сердце живет только на поверхности бытия, оно не может примириться с порядком, при котором жизнь ведет к смерти, и мысль, в своем стремлении к истине, запутывается во лжи. Здесь стена, говорил подпольный человек, законы природы, но он не может согласиться, что гармония достижима только в общем и целом и для экологического равновесия волки должны поедать зайцев. Гармония не утешает единичного зайца, попавшего в волчьи зубы. Сердце не смиряется со стеной.

Там, где нет «я», где остается только Божье Ты, в целостной вечности, зла нет и найдено убежище от страдания: духовное погружение в эту вечность. Но как представить себе, как пережить это убежище, как сделать его доступным неопытному сердцу? Сердцу нужен образ.

И буддизм, начав со строгого языка понятий, не обошелся без образов, без мифов о Чистой земле, о башне Матрейи и т.п. И в нашей культуре образ Бога царит над всеми понятиями и погружение в глубину – это погружение в царствие Божье, которое внутри нас. Глубину легче почувствовать через метафору.

В образе Бога снимается разрыв между тайным единством и зримой дробностью мира. Бог и трансцендентен (вне мира), и имманентен (присутствует в мире). В этом сходятся все великие культуры. На языке индуизма это единство сагуны Брахмана и ниргуны Брахмана; китайская метафизика говорит о безымянном Дао, объемлющем Дао, имеющее имя. Потусторонний Бог присутствует в посюстороннем как божественные энергии, как веянье Святого Духа и как второе пришествие, которое, по словам Рейсбрука, вечно происходит в душах святых.

В своей трансцендентности Бог вне пространства и времени. Его место в пространстве и времени – нуль. Из этого нигде и никогда, из ничего Он творит мир, восстанавливает, возрождает мир, пожираемый смертью, и наполняет его Своим Духом. В Его Духе нет никакого зла, никакого несовершенства. Но вступая в пространство и время, он вступает в мир смерти. Санскрит вообще не различает время и смерть. Кала (в женском роде Кали) – и то, и другое. Поэтому Шиву называют Махакала, а его супругу Махакали или просто – Кали. Будда говорил об органическом несовершенстве мира. Умирая, он повторил главную мысль своей первой проповеди: «состоящее из частей подвержено разрушению; трудитесь прилежно...». Видимо – чтобы достичь убежища в целостном духе. Писание христиан говорит, что мир лежит во зле и сокровища надо собирать на небесах.

А в то же время мир прекрасен. В нем действуют божественные энергии. Даниил Андреев чувствовал их в природе и называл стихиялями. Святой Дух действует в культуре, и плоть от плоти рождается, а дух от духа; и сыны Божьи, родившиеся от духа, вносят в мир совершенную любовь. И свет во тьме светит, и тьма не объемлет его.

Это не оптимизм и не пессимизм. Бог вечно вступает в мир рождения и смерти, и в каждом младенце он готов полностью воплотиться. И воля к Божьему раю уравнивает силы, влекущие в ад. Мы призваны помогать Богу в этом, и с нашей помощью свет никогда не перестанет светить во тьме (хотя бы дурьей добротой). Наше стремление к божественной цельности – противовес разрушительным стихиям и демоническим веяниям.

Таков, по-моему, мир, и лучше он может быть только в воображении утописта. Опыт утопии мы уже пережили. Попытки кардинальной перестройки мира только портят его. На поверхности мира добро часто терпит поражение, и вопли Иова – не грех. Эти вопли – такая же часть живой жизни, как крики роженицы и плач над умершим. Бог отвечает плачущим и стенающим. Он ответил Иову: твори вместе со Мной! Помогай Мне! Войди в поток творчества и потоки в нем свои страдания! Ищи силу в благодатном свете, который всегда

готов излиться из глубины твоего же сердца, откликаясь на Мою глубину! И потом, вернувшись на свет дня, ты сам захочешь, чтобы были розы вместе с шипами и встречи глаз любящих, знающих, что они не вечны, и улыбка матери, обращенная к младенцу, которого она в муках родила. И вопросы Карамазова не способны отнять запах у клейких листочков.

Все это гораздо шире творчества Андрея Тарковского, но я вспоминал Достоевского, узнавал вопросы Достоевского, просматривая, одну за другой, видеокассеты.